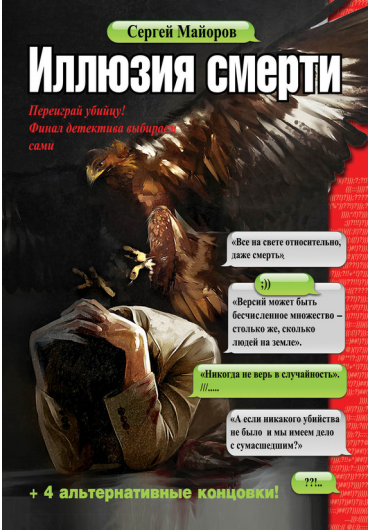




Сергей Майоров
Иллюзия смерти
Серия «Переиграй убийцу! Финал
детектива выбираем сами»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6606851
Сергей Майоров. Иллюзия смерти: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-69510-2

Аннотация

В маленьком городке неожиданно-негаданно появляются цыгане, и вслед за этим начинают пропадать дети. Их, убитых, потом находили в лесу! Мальчик Артур и его друзья побывали на местах преступлений, и везде они находили одни и те же следы резиновых сапог с цифрами 43 на подошвах и трещиной на каблучке. Проходит немного времени, и в автокатастрофе погибают мама и бабушка Артура – машина, в которой они ехали, попала под колеса тяжелого трактора. Мальчик считает, что именно этот тракторист и есть тот самый серийный маньяк, но следствие находит сапоги с трещиной в таборе у цыган. Тогда Артур поклялся сам найти преступника. И вот прошло тридцать лет... Четыре альтернативные концовки детектива создают удивительное ощущение многообразия логических ходов и непредсказуемости нашей жизни.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	6
Глава 3	10
Глава 4	14
Глава 5	20
Глава 6	24
Глава 7	29
Глава 8	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Сергей Майоров

Иллюзия смерти

Глава 1

Я забрел в кафе и прошел в дальний угол. Сел за столик и осмотрелся. Первым на глаза попался бармен. Меня он тоже изучал внимательно, хотя и делал вид, что это нечаянно. Вторым оказался мужчина за соседним столиком. Увидев меня, он тут же отвернулся и уставился в окно безразличным взглядом. Так смотрят на чужие похороны или на воду в отсутствие клева.

За столиком у окна сидели еще двое мужчин. Они изредка притрагивались губами к чашкам с кофе и, казалось, находились здесь лишь по той причине, что были напрочь лишены фантазии. Я переглянулся с ними пару раз и более их не замечал.

Ничего необычного в моей внешности бармен не нашел. Лицо мужчины, которому слегка за пятьдесят, ничем не примечательное, слепленное Господом без всякого настроения. Я легко теряюсь в толпе. Женщины в моем присутствии не занимают выигрышных поз и не вытирают второпях пальцами уголки губ от помады. На вечеринку со мной они идут, когда все аристократы, значащиеся в их записных книжках, сослались на уважительные причины. Мне нравится производить первое впечатление, меня забавляет равнодушный взгляд, обращенный в мою сторону.

Пока я грел теплом рук коньяк, принесенный в пузатом тонкостенном бокале – напитки здесь подавать, к счастью, умели, – бармен, необоснованно затосковавший по стабильному доходу, снова принялся скрипеть полотенцем в стаканах. Здесь знают, что коньяк в рюмке такая же пошлость, как и водка в чайной чашке. Хотя, чего греха таить, если мне наливают в чашку, я пью, не протестую. Но бармен хорош. Принес бокал и теперь спокойно протирает стаканы. Мы с ним чем-то похожи. Большую часть жизни в гремящем тоской одиночестве мы оба с ним что-то протираем. Он – стаканы, я – мысли.

Мужчина встал из-за столика и направился ко мне. Мне не оставалось ничего другого, кроме как поднять взгляд и согласно кивнуть в ответ на просьбу сесть напротив.

– Скорее всего, вы здесь проездом, – предположил мужчина и, начав беседу таким образом, предоставил мне право как следует себя рассмотреть.

Я разглядел его, пока он усаживался, и кивнул.

– Я тоже, – признался он и вдруг спросил: – Когда вы уезжаете?

– Мой поезд отходит в шесть утра. – Я глотнул коньяк и стал ждать, что будет дальше.

– Стало быть, почти семь часов. – Он потер подбородок.

Я не услышал скрипа щетины, так раздражающего меня. В одиннадцатом часу вечера мужчина выбрит, на нем надет хороший костюм. Все это располагало к знакомству.

– Если не секрет, куда едете?

Я назвал город.

Он удивился так, словно я сообщил ему о возвращении Одиссея в Трою.

– Невероятно... – пробормотал он. – Это же город, где я родился. – Мужчина попросил бармена приготовить кофе, а потом деловито поинтересовался у меня: – Скажите, как вы намерены распорядиться этими своими семью часами?

– Думаю выпить коньяку и отправиться на вокзал. – Я усмехнулся. – Этот город похож на кладбище.

– Я оплачу весь коньяк, что вы здесь закажете, если согласитесь выслушать меня.

– А сами не пьете?

– Мне запретил врач.

Выслушивать – моя профессия. Но никогда еще мне не приходилось это делать при таких обстоятельствах.

– Почему вы решили, что я тот, кто вам нужен? – спросил я на всякий случай.

– Кроме вас, здесь никого нет. Вы не знаете, как убить время. Лучшую кандидатуру трудно подыскать. Но надо же, какое совпадение!.. – снова поразился он тому, что Земля круглая. – Вы живете там, где когда-то и я...

– Я там не живу, но часто бываю, – уклончиво ответил я. – У меня квартира в этом городе.

– Я тоже там больше не живу. Вы бываете в парке у Дома культуры?

– Коньяк здесь дорог, – предупредил я.

– Пустое. – Он повернул голову и попросил бармена принести бутылку.

– Вы умеете заставлять слушать, – сказал я с горькой усмешкой, но ответа не последовало.

Этого человека рядом уже не было. Он находился в сотне лет от меня. Было видно, что ему трудно начать. Но мужчина, вероятно, вспомнил, что путь длиною в тысячу миль начинается с первого шага, поблуждал взглядом по серому пейзажу вокруг и заговорил.

Глава 2

«Город сошел с ума», – часто повторял отец в тот год.

Я не понимал, почему он так говорит. Как город может сойти с ума? Эти выкрошенные тротуары, похожие на надкусанные плитки черного шоколада, деревья, повисшие мускулистыми ветвями над ними, дома, посеревшие от старости и раздоров внутри себя. Как это все может сойти с ума?

В моем представлении на это способен только человек. Я был уверен в том, что даже животное, собака к примеру, сойти с ума не может. Потому что все собаки в городе и без того ведут себя как безумные. Они подбирают еду с дороги, ищут ее на свалках, спят в пыли и бросаются на машины. Я не встречал еще ни одной, которая вела бы себя прилично. Разве разумное существо будет поджимать хвост, рычать и оголять зубы при моем приближении?

– Город сошел с ума, – сказал отец, придя из школы. – Снова пропал ребенок, на сей раз у Демидовых.

– У Демидовых? – Мама ахнула и заплакала.

Наверное, ей было нестерпимо жаль Демидовых. Так беззащитно мама плакала всегда, когда испытывала это вот чувство.

В городе стали пропадать дети. Сын Демидовых, Аркашка, был уже третьим, кто за последние два месяца вышел из дома и не вернулся. Детей искали все, кто только мог этим заниматься. Обвинять в беспомощности милицию никто не смел. Всем было хорошо известно, что сотрудники районного отдела ходят домой только для того, чтобы переодеться или пару часов поспать. Остальное же время они искали детей. Таких, как я. Только пропавших.

После исчезновения первого ребенка к сыщикам присоединились жители города, даже дети. Всякий раз, сбиваясь в группы, они с фонарями в руках обыскивали окрестности и находили то, что искали. Видимо, убийца не хотел устраивать головоломки.

Присоединиться к поискам, казавшимся мне увлекательными и опасными, порывался и я, но всякий раз мама осаживала меня, грозя ремнем. Она никогда не ударила бы меня. Я это знал и никогда не доводил ситуацию до той последней черты, за которой насилие было бы обоснованно и неизбежно. В этом, наряду с многими другими обстоятельствами, заключался особый смысл нашего мирного сосуществования. Обе стороны хорошо знали, где находится эта черта, и никогда ее не пересекали.

Все началось с цыганского табора, забредшего на окраину нашего города. Они приехали на своих кибитках по асфальтовой дороге, ведущей из областного центра, и остались рядом с ней, лишь скатившись с обочины. Разбив лагерь и породив кучу слухов, неделю цыгане жили, утверждая мнение о себе как о народе мирном, недобрые слухи о котором ходят совершенно зря. Женщины в цветастых юбках и платках гурьбой бродили по магазинам, выпрашивали у прохожих или во дворах деньги, еду и вещи.

Это «ну дай хоть что-нибудь» во мне, сыне учителей, впервые в жизни пробудило отчаянную жалость и ни разу не возбудило страх. Именно жалость, еще не милосердие, нет, ибо в эту пору я еще не улавливал разницы между этими понятиями. Впрочем, и жалость я растолковывал для себя только лишь как сопереживание страданиям существа, более слабого, чем я.

Жалость была для меня привычным делом, я знал в ней толк. Менее жизнеспособное существо, чем я, в нашем городе можно было сыскать лишь среди бездомных, физически слабых собак и кошек. Я сам был объектом жалости. Скажу вам, что это всегда неприятно и унижительно. За восемь лет я четырежды переболел пневмонией и почти убедил родителей в своем мучительном будущем. Я не понимал, почему зимой мне нельзя, как всем, есть снег

и нужно наматывать шарф по самые глаза в не самую холодную погоду. Любая одежда, купленная по возрасту в областном центре, оказывалась мне велика.

– Наверное, пока я лежал в больницах и болел, ребята росли, – предположил я однажды.

Мама рассмеялась, подняла меня и прижала к себе. Я любил, когда она так делала. Наши лица соприкасались, я вдыхал мамин запах и чувствовал своим хлипким тельцем ее крепкую стать. При этом хорошо ощущалась связь между нами, то ли существующая давно, то ли появляющаяся именно тогда, когда она прижимала меня к себе. Но мне не хотелось задумываться об этом. Я не видел смысла в таких вот размышлениях. Если маме и мне нравится прижиматься друг к другу, значит, так нужно.

– Нет, дорогой, – ответила она, опуская меня на пол. – Это оттого, что ты совершенно ничего не ешь.

Цыгане, о которых я так много слышал и никогда не видел ранее, меня потрясли. Они были не такие, как мы, но выяснить, хорошо это или плохо, не представлялось возможным. Они разговаривали громко, одевались ярко и странно. Курили все, в том числе и женщины, а некоторые из них даже трубки. Днем они разбредались по городу, оставляя в таборе только стариков и малых детей, а вечером разжигали костры и варили пищу в огромных котлах. Как и всем детям, мне был заказан выход со двора на то время, пока они находились в городе.

Взрослые видели дальше, и я даже не уточнял, что делать, если цыгане не уйдут никогда. Наверное, наши родители не раз сталкивались с этими людьми и знали, что они обязательно уйдут. Это непременно случится до того момента, когда мы, дети, вырастем. Вероятно, мои отец и мать думали так же, но я задавался вопросом, ответ на который вполне мог подорвать мое уважение к их знаниям. Какую опасность представляют цыгане и что делать, если они не уйдут теперь вовсе? Я не знал, испытывали ли подобную тревогу мои сверстники, и однажды поговорил об этом с Сашкой, приятелем, живущим в моем подъезде, на первом этаже.

– Мои родители сказали, что цыгане скоро уйдут.

– Мои тоже так говорили, – ответил он мне, ковыряясь в носу и поигрывая пластмассовым пистолетом, только что подаренным родителями.

Сашка жил в семье, почти терпящей бедствие. У его родителей – библиотекаря тети Нади и электрика дяди Саши – было трое детей. Жили они в однокомнатной квартире. Приходя в гости, я не понимал, как они умещаются в ней и ухитряются спать. Мне представлялось, как тетя Надя или дядя Саша, проснувшись ночью, чтобы попить, наступают в крошечной темноте на Сашку, Серегу или Тоню. Иначе быть и не могло, поскольку кровать Сашкиных родителей стояла в углу, а дети спали на полу.

Зарабатывали Сашкины родители мало. Ко всем вынужденным бедам этой семьи постоянно добавлялась еще одна: дядя Саша любил выпить. Загуливал он только по праздникам и денег из дома не таскал. Я сам никогда не додумался бы так сказать, если бы дядя Саша не кричал это по три-четыре раза в неделю в подъезде в то время, когда тетя Надя хлестала его на пороге резиновым шлангом от стиральной машины. Меня это ужасало. Привыкнуть к разрешению таким вот образом противоречий в семье, хотя бы и чужой, я не мог. Тогда я накрывался одеялом с головой, чтобы не слышать этих остервенелых криков и утробного хрюканья резинового шланга, громыхавших по всему подъезду.

Утром я спускался к Сашке с ранцем за спиной, и мне казалось, что у меня не все в порядке с памятью. На моих глазах отец моего приятеля, худой и маленький дядя Саша, целовал высокую тетю Надю, которая была тяжелее его раза, наверное, в три. Она улыбалась ему, называла его Санечкой и суетливо укладывала сверток с обедом в брезентовую сумку. Я всякий раз растерянно хлопал рыжими ресницами, чтобы убедить себя в том, что это мне нисколько не пригрезилось. В одиннадцать часов вечера – да-да, я не выдумываю! – эти двое под крики собственных детей опять бились насмерть на пороге своей квартиры.

Потом дядя Саша гладил своих детей по головам, заодно и меня. Он строго предупреждал нас, чтобы не шалили, после чего отрывал от календаря листок и тут же свертывал из него самокрутку. Этот процесс меня завораживал. Я переставал хлопать ресницами и, наоборот, замирал, чтобы лучше слышать треск листка и аромат табака. Мой рот наполнялся слюной восхищения, когда дядя Саша лизал краешек бумажки.

Сашка, Серега, Тоня и тетя Надя целовали друг друга, дядя Саша и тетя Надя в финале лобызали меня, и все наконец-то выходили на улицу. Этот ритуал продолжался изо дня в день, в нем царствовала атмосфера всеобщей любви и доверия. Если бы не лиловые, свежие, словно только что из печати синяки то под правым, то под левым глазом дяди Саши, я мог бы ручаться за то, что каждую ночь меня мучают видения.

Иногда мне думалось, что тетя Надя нарочно ставила эти памятные знаки на разные места, чтобы не причинить особого вреда здоровью своего мужа. Эта мысль посещала меня всякий раз, когда я лежал в больнице. Медсестра заходила в мою палату со шприцем в руке и спрашивала: «Ну, в какую половинку мы ставим сегодня?» Но доставалось дяде Саше не только от жены, и тогда он не выходил из квартиры по несколько дней.

– Значит, и твои родители тоже знают, когда уйдут цыгане, – заметил я, отрывая взгляд от пистолета.

Так себе, ничего особенного. У меня был лучше, привезенный из большого города.

– Родители всегда все знают, – угрюмо подтвердил Сашка.

– Так уж и все?

– Все. Конец этому разговору. Понял?

Не знаю, как это происходит у взрослых, но мне захотелось перечить Сашке, потому что у него был пистолет.

Несмотря на чересчур уж живую обстановку, царившую в его доме, он часто и подолгу замыкался, выходя из подъезда. Изредка его неприязнь ко мне проявлялась, и тогда он срывался на слезы.

Я знал, что именно мучило и унижало его. По сравнению с ним я был тенью, призраком. Несмотря на то что я бегал быстрее, соображал и учился лучше, сравнивать нас с точки зрения физиологии можно было лишь формально, чисто академически. У нас обоих было по две руки и ноги, к ним прилагалась голова и все остальное. Но Сашка был выше, сильнее и крепче. Он запросто переворачивал камни, которые я не мог оторвать от земли. А как он выламывал из плетней колья! Я же мог только изобразить это, не причинив забору ни малейшего ущерба. Но его тревожило обстоятельство, которое сводило всю его силу на нет.

Он, душой живший в своем папаше и испытывавший перед ним благоговейный трепет, не мог простить мне моего отца. Мучительная для Сашки проблема заключалась в непохожести наших отцов. Такая же катастрофическая разница прослеживалась в наших отличиях. Но только в этом случае, терзающем Сашкину душу, все было ровно наоборот.

Иногда мой отец и дядя Саша становились рядом, к примеру, желая поздороваться. При этом его папаша выглядел как постаревший, одряхлевший, неопрятный ребенок. Когда они брались за руки, то со стороны все представлялось так, словно мой отец вел своего непослушного старшего сына сначала пороть, а после отмывать.

Я был уверен в том, что, когда представилась бы такая возможность, Сашка отдал бы все – и пистолет этот новый, и конструктор, и велосипед, – все, абсолютно все, даже согласился бы взять себе мою тщедушность, а меня наградить своим здоровьем, лишь бы его отец выглядел крепче и умнее моего. Я никогда не заметил бы этого, если бы Сашка однажды в отчаянии не проговорился.

Все то время, что мы были с ним знакомы, а это произошло, как мне думалось, тысячу лет назад, к нему приходило понимание того, что со временем отец его не становится ни выше, ни здоровее. Лицо Сашкиного папаши не разглаживается от морщин, он не перестает

пить. Мой приятель не закончил свою мысль, но я и без того уже догадался, что теперь, по истечении отпущенного срока, это понимание окончательно укрепилось и стало частью его жизни. Из этого мне следовало сделать незамедлительный вывод, но я, в отличие от Сашки, понял все уже давно.

Я понял, что за благородство моего отца, выражающееся в дружеском отношении к тем, кто не столь образован по сравнению с ним и не так силен, за его щедрость и возможность в любое время суток вынуть из кармана синюю пятерку и дать, не устанавливая сроков возврата, Сашка платил мне мелкой монетой. Довольно часто, а в последнее время вообще постоянно, я рисковал получить от него тычок в бок или шлепок по уху без всяких видимых причин. Стуча кулаком по моим хлипким ребрам, Сашка, вероятно, представлял себя своим отцом, разговаривающим с моим. Так в его понимании уравнивалась несправедливость человеческих отношений, порожденная самой природой. Я не мог разъяснить это себе, расставить по местам доводы, но очень тонко все чувствовал и понимал. Тем более что Сашка никогда не прикрывал свои поступки замысловатой ложью.

Как и он, я тоже страдал, но иначе. Ночью, накрывшись одеялом и став совсем другим, я шептал слова, которые мог бы сказать Сашке во время его очередного выпада. Эти слова должны были пронзить душу моего приятеля, заставить понять ничтожность собственного содержимого. В довершение, перед тем как уснуть, я бил Сашке кулаком в ухо. В левое. Ибо знал, как сильно оно иногда болит.

Я мог бы сказать эти слова ему на улице в любой момент, но не говорил. Мог и в нос ударить, но не решался. Боязнь быть битым позволяла мне сохранять мужество только под одеялом. Меня пугала даже не боль от ударов, весьма крепких, стократ сильнее обычных. Устрашало послесловие драки, ее самый вероятный финал. Я представлял, как лежу на земле, корчась и держась за живот, а надо мной стоит Сашка, и покрывался потом.

Думаю, мой приятель добился своего. Под одеялом мне было весьма неудобно. Сашка считал, что мой отец чувствовал бы себя точно так же рядом с его папашей, если бы мир был устроен справедливо.

Разница была лишь в том, что в реальном мире Сашкин отец не испытывал унижения от мысли о том, что его сейчас – прямо в этот момент – унижат, а он не сможет этому противостоять. Я почему-то был уверен в том, что при встрече с моим отцом такая мысль не приблизилась бы к нему и на расстояние выстрела из рогатки. Когда я выходил во двор играть с Сашкой, эта идея не выветривалась из моей головы даже под мощным потоком куда более интересных соображений.

Глава 3

Первого пропавшего мальчика, Толика Мартьянова, нашли в день исчезновения, то есть через сутки после появления цыган на окраине города. В этом году, который отец называл сумасшедшим, мы с Толиком закончили второй класс. Учились вместе, он сидел за одной партой с Машкой Санниковой, единственной девочкой нашего двора. Толик жил на соседней улице.

Направляясь в магазин и проезжая на велосипеде мимо забора их частного дома, покрытого причудливыми кружевами плюща, я часто слышал отрывистые звуки, порой визгливые, а иногда угрюмые, на слух ужасные и порождающие самые недобрые предположения. Уже когда мы учились вместе, я попытался выяснить у Толика причины их возникновения.

Он ответил так же коротко, как всегда говорил на уроках математики, получая за это пятерки:

– Моя жизнь разделилась на две части.

Я знал, что Толик наряду со мной находился в числе тех редких детей, которые в восьмилетнем возрасте книги любят читать, а не слушать. Скорее всего, эту фразу о жизни он где-то подсмотрел, запомнил и долго ждал, когда ее можно будет применить на практике.

После его ответа я попытался получить дополнительные разъяснения, и вскоре все стало на свои места. Моя любовь к музыке сразу исчезла, не успев сделать первого вдоха. Кому-то из родителей Толика показалось, что у него хороший слух. Это подозрение родило другое: мальчик любит музыку. Поскольку в доме Толика как раз находился аккордеон деда, не вернувшегося с войны, участь моего одноклассника была предreshена.

Моя мама утверждала, что гениальность в математике отрицает предрасположенность к музыке. В городе же начали поговаривать о том, что Толик подает надежды. Он вот-вот примет участие в каком-то музыкальном конкурсе, проводимом в областном центре. В каком именно, родителями Толика не уточнялось. Единственный в нашем местечке преподаватель музыки Шмуэль Маркович эту новость не подтверждал, но и не отрицал. В конце концов взрослые заговорили о том, что лучше бы Толика от музыкальных занятий освободить, чтобы не мучить.

Наши родители никогда не были близки, поэтому я очень удивился, увидев на пороге квартиры его маму.

– У вас нет Толика? – спросила она, комкая на груди отвороты платья.

– Нет, – растерянно ответила моя.

Она хорошо знала, что я был из тех, для кого преподношение сюрпризов являлось делом обыденным.

Поэтому мама повернулась ко мне и спросила, как делают обычно одни женщины в присутствии других, чтобы из солидарности взять на себя часть чужой ответственности:

– Артур, вы с Сашей Толика сегодня не видели?

По привычке помотав головой, я так же заученно принялся осмысливать существо вопроса. Моей маме было известно, что «два этих действия он производит, как правило, в последовательности, обратной здравому смыслу». Так говорила она отцу.

Поэтому мама присела, внимательно посмотрела мне в глаза и четко, едва ли не по слогам, спросила:

– Артур, вы видели сегодня Толика?

– Нет.

Мы с Сашкой весь день нарушали запреты, введенные взрослыми на время присутствия в городе цыган: ездили на рыбалку и купались. Одно только упоминание этого факта

помогло бы обеим мамам обрести веру в мои слова. Правда исключала саму возможность нахождения рядом с нами Толика, до сих пор не преступившего ни единого запрета.

Но я решил утаить страшную истину, сообщив безобидную:

– Толика мы не видели. – Говоря это, я старался выдержать тон, избранный мамой.

– Он не обманывает, – грустно сказала она, вставая с колен. – А как давно вы его потеряли? – Этот вопрос адресовался уже не мне.

– Утром. Он пошел в кино. Его до сих пор нет.

Слезы взрослых, если это не мама, никогда не производили на меня впечатления. Я просто переставал веселиться, и то потому, что того требовали, как я догадывался, правила приличия. А все оттого, думается, что фантазии мои не могли представить тех бедствий, которые заставили бы взрослых плакать. Коленка, ушибленная при падении с велосипеда, запрет на сладкое и игру на улице – это понятно. Тут разрыдается кто угодно. Но мне трудно было вообразить маму Толика, упавшую с велосипеда. Совсем уж невозможно было додуматься до того, что ей кто-то запретил брать из буфета конфеты.

Мама обняла женщину и ввела ее в квартиру.

– Пойду? – спросил я.

Мне нужно было закончить одно дело.

– Подожди, – велела мама и направилась к сифону, стоявшему на столе.

Это было уже совсем некстати. Отец принес из леса, где тренировал лыжников, банку земляники. Ягоды только что были вымыты и залиты молоком. Это оказался тот самый редкий случай, когда я рвался к столу.

Появление мамы Толика противоречило поведению взрослых в принципе. Когда я имел десять веских причин, чтобы не есть, меня заставляли это делать. Когда же я стремлюсь к тарелке, меня к ней не подпускают. Ну какая разница, что в ней ягода, а не мясо?

«Это тоже еда», – всегда говорила бабушка из большого города, которую мама не раз заставляла врасплах в тот момент, когда она набивала мои карманы карамелью.

Налив полный стакан, мама вернулась и подала его гостю.

– Спасибо, – сказала мама Толика.

– Эти цыгане... – робко начала моя мама, не думая продолжать.

– Мы у них искали. Толика там нет. Они такие странные, но мы обошли весь их табор.

Да, цыгане и вправду странные люди. Зная, что им ничего не дадут, они все равно ходят и просят.

Однажды, улучив момент, я откликнулся на их просьбу. Увидев в окне трех цыганок, забредших в наш двор, я стащил из трюмо початую пачку сигарет «Шипка», позабытую каким-то гостем, и под предлогом проверить, накачаны ли шины велосипеда, выбежал на улицу.

В то лето жара словно поклялась задушить наш город. Самым уютным местом вне квартиры был подъезд, погруженный в вечный сумрак, не зависящий от времени суток. Но прохлада, пахнувшая старым деревом, умиротворяла лишь на мгновение. Улица тут же сливалась с кожи аромат дерева и пропитывала ее запахом кленов. Зажмурившись, я выбежал и бросился вослед цыганкам, уходящим со двора с пустыми руками.

– Тетенька! – крикнул я женщине в цветастой юбке, которая последней покидала него-степриимную территорию. – Вам это нужно?

Я не был уверен, что цыганкам требуются сигареты, но думал, что у них, в конце концов, есть свои мужчины. Раз цыганки ходят по дворам и просят, следовательно, у их отцов, братьев и мужей дела обстоят не очень. Пусть эта цыганка передаст пачку кому-нибудь из них. Ей же не трудно это сделать.

Она присела и приняла сигареты, без удивления глядя на меня. Мое предложение застало ее в тот момент, когда маска жалобной мольбы сходила с ее лица. Я неприятно пора-

зился этому процессу. Сейчас эта женщина уже ничем не вызывала жалости. Мне показалось, что в глазах ее промелькнула досада.

Если бы кто-то в этот момент попросил меня об этом, то я не сумел бы объяснить свое неприятное чувство. Где-то глубоко внутри себя я понимал, что просящий, страдающий человек после отказа может испытать отчаяние, разочарование, огорчение. Но он никогда не почувствует досаду.

Хрупкая, еще ни разу по большому счету не обманутая детская душа моя запротестовала. Я чувствовал, что нахожусь в центре процесса, недоступного моему пониманию, чувствовал, что непригоден для участия в нем. Однако передо мной были люди взрослые, и они этот процесс не останавливали. Легкое чувство суеты овладело мной. Точно такое же возникало при приближении любой чужой или бродячей собаки.

В этом состоянии недоверия, вполне проступившего сквозь мою искренность, я и услышал голос отца:

– Артур!

Он прозвучал за моей спиной. Видимо, отец стоял за воротами двора.

– До девяноста двух лет проживешь, мальчик, – торопливо, словно расплачиваясь за купленные пирожки из окна отходящего поезда, быстро проговорила цыганка. – Глаза у тебя ясные, но голову береги.

– Подойди ко мне, Артур. – Отец проявил настойчивость.

– Ай, не бойся за сына, красавец! – затараторила цыганка, поднимаясь и выпуская мою руку. – У кривого Егорки глаз шибко зоркий, одна беда – глядит не туда!

В следующий момент я почувствовал, как отец положил мне руку на плечо.

– Лучше дай маленькой девочке на хлеб, – предложила она ему.

Только сейчас я заметил, что из-за цветастых юбок цыганок выглядывала крохотная перепачканная мордочка. Я понял, что девочка стояла за оградой, когда цыганки входили просить.

Ни слова не говоря, отец взял меня за руку, еще хранящую сухое тепло цыганской ладони, и повел прочь.

Он молчал всю дорогу, но у самого подъезда присел, и лица наши оказались напротив.

– Никогда!.. Ты слышишь? Никогда не подходи к незнакомым людям. Ты знаешь, что происходит в городе?

Да, я знал. В городе пропадали дети.

Как вам уже известно, первого исчезнувшего мальчика, Толика Мартьянова, нашли быстро, через сутки после появления цыган на окраине города. Он висел на березе.

То, что рассказывали родители шепотом на кухне, за чаем, уложив меня спать и оберегая мой слух, не вписывалось в мое представление об абсолютном зле. Я вряд ли мог растолковать для себя верно и само это понятие: «абсолютное зло». Наверное, это было что-то живое и настолько страшное на вид, что глазам больно на него смотреть. Оно совершало поступки, ни одному из которых нет прощения.

Толик висел на куске стальной колючей проволоки, один конец которой был примотан к суку, а другой туго стягивал его шею. Говорят, мама Толика сошла с ума. Она повесилась в подвале собственного дома, изгородь которого была оплетена плющом, не сразу после похорон, а только на второй или третий день.

Потом ее муж, папа Толика, начал выпивать по часту и помногу. Вскоре он пропал. Через месяц или два по городу как мухи по весне стали распространяться слухи, источниками которых были люди разные, но говорившие об одном и том же.

К нам часто приезжали жители других районов, кто за новыми шторами, кто в гости к родственникам. Они рассказывали, что в их деревнях, сперва в одной, на следующий день в другой, на значительном удалении от предыдущей, появлялся папа Толика. Он садился на

окраине, растягивал меха аккордеона, давил на клавиши, производя страшные звуки, дико выл и тянул из себя какие-то безобразно звучащие слова. Этот человек и в лучшие-то времена не был мастером живой речи, а поэтому рассказывал миру о постигшей его страшной беде так, как уж мог. Он-то считал, будто вполне осмысленно вытягивал из себя какие-то фразы, но ни одна из них не была понятна селянам.

Зато деревенские псы, слышав первые аккорды, перегрызали ошейники, рвали цепи и мчались за деревню. Они внушали людям растерянность и страх. Говорили, что по пять, по десять собак рассаживались вокруг папы Толика, задирали лохматые морды, зажмуривались и подхватывали. Тогда над деревнями взметались сотни ворон, отчаянно галдя и треща крыльями.

Но вскоре и эти новости утратили свежесть. Я позабыл эту историю, поскольку она тоже не отвечала моим представлениям об абсолютном зле, была противоречивой и чересчур уж хитро сплетенной. Наверное, я не прилагал к этому никаких усилий, не желал ее забыть. Поэтому так и вышло. Новые ее пересказы со свежими, все более ужасающими деталями перестали возбуждать мой страх. Они превратили его в усталость. А уж ее-то я побеждал быстро.

Глава 4

Артур пощелкал пальцами и поманил к себе собаку, подбежавшую к кафе. Бросая на бармена опасливые взгляды, пес осторожно, словно нехотя, поставил лапу на деревянный настил. Я заметил, как бармен тут же злобно посмотрел на животину, однако тут же отвернулся и продолжил звякать стеклом за стойкой. Интересно, как собака понимает, что нас бояться не следует, что мы те, от которых может перепасть поесть, а от бармена ничего, кроме швабры, ей не достанется?

Неубедительно махнув хвостом, пес устремил на бармена внимательный взгляд и взялся на настил. Человек тут же оправдал самые грустные ожидания животного. Взмахнув рукой с зажатой в ней тряпкой – надо думать, бармен приготовился к атаке заранее, в то время, когда пес был еще на той стороне улицы, – он ловко и метко запустил ее в цель. Несчастный пес не успел не то что убежать, а даже и развернуться. Удар получился не сильный, но пес взвизгнул, поджав хвост и уши, царапнул по полу когтями, а потом затрусил по улице. Это был не его вечер. У меня появилось подозрение, что противостояние пса и бармена длилось уже довольно долго. Каждый знал свою роль назубок.

Вздохнув, Артур посмотрел на бармена, тот заметил укор во взгляде денежного посетителя и отпартовал:

– Я не хотел, чтоб она вам мешала. – Он поднял тряпку и направился в свои владения.

Пес брел по противоположной стороне улицы, достиг своих владений, не нашел там ничего съестного и теперь заходил на второй круг в надежде на внезапную удачу. Напротив кафе он остановился, завел хвост под брюхо и тоскливо моргнул. Еще некоторое время зверь стоял, видимо, размышляя, не подождать ли, когда бармен уйдет на кухню. Потом, вероятно, пес сообразил, что этот тип скорее умрет от голода вперед него, но при виде своего заклятого врага никуда отсюда не денется, и затрусил дальше.

Территория его не так велика, а забираться в чужие владения у зверя не было ни малейшего желания. Бог наделил его изрядной сообразительностью, но лишил силы. Как же это похоже на то, что я вижу каждый день среди организмов, якобы наделенных свыше куда более высоким интеллектом!..

Артур снова ушел от меня так далеко, что я слышал только его голос.

– Первой любви в твоей жизни не бывает точно так же, как и радуги. Любовь появляется внезапно и так же неожиданно исчезает, сумасшедшая, жалкая, нежная, яркая, разная. Она была, есть и будет. Но никогда – впервые. Лучше признаться в том, что предыдущие радуги ты просто не заметил. Ведь что такое радуга, ты, по крайней мере, представляешь.

Галка – хорошая девочка. С этого, пожалуй, и стоит начать. Немного нелепым был разве что ее отец дядя Боря, но ведь дочь не виновата в том, что он портил впечатление о ней. В пьяном виде этот герой избивал Сашкиного отца, когда в подъезде не было света.

Дядя Саша электрик, и поэтому в подъезде постоянно должен был гореть свет. Так считал Галкин отец, начинающий выпивать сразу после обеда. Я так думаю, что если бы дядя Саша был не электриком, а маляром, красившим почтовые ящики, дядя Боря бил бы его за то, что не все они блестят. Дело вовсе не в лампочках. Просто Галкиному отцу нравилось избивать дядю Сашу. Ведь, когда дядя Саша пьян, он совершенно беззащитен.

Мой отец всегда выходил из квартиры, чтобы прекратить драку, Галка и Сашка плакали в голос, а я сидел и дожидался часа, когда стану папой. Тогда я смогу защищать всех добрых дядь Саш, если их будут избивать злые дяди Бори. Когда я думал об этом, мне было немного не по себе. Я хотел бы заменить свое ощущение на то, что прямо и неоспоримо зовется стыдом, но не мог. Дело в том, что только Галка заставляла меня стремиться к мужеству, которого мне, признаться, порядком не доставало.

Она старше меня на четыре года. Эта гигантская разница в возрасте смирала и казнила меня. Ну скажите, какая дружба может быть между почти всегда больным мальчиком и красивой девочкой, если между ними такая пропасть?

Даже на расстоянии ее губы пахли лавровым листом. Чем ближе она находилась, тем яснее это ощущалось. Не могу сказать, нравился мне такой аромат или нет. В силу недоразвитости суждений в этой области я мог лишь констатировать факт, что переступил порог дозволенности, раз рассуждал о запахах, исходящих от девочек.

Вероятно, не многим мальчикам вроде меня предоставлялась возможность так часто ощущать запах девушки, шагнувшей в зрелость. Если только она не твоя сестра. Поворот головы, случайный взгляд, направленный вовсе не в мою сторону, а так, в никуда, улыбка... Когда мы оставались одни, все это открывало для меня пугающие, но в то же время желанные возможности.

Почему ее губы пахли лавром? Я не мог ответить на этот вопрос, был способен лишь предполагать. Я думал, что так пахнут губы девушки, которая вынуждена плакать из-за глупости своего отца.

Странно, но мне часто не хватало этого запаха. Тогда я находил причину, чтобы уйти из дома.

Я знал, где искать Галку. Летние каникулы исключали для меня необходимость рыскать в поисках по этажам школьного здания. Галка могла быть только на улице, потому что родители домашними делами ее не обременяли. Отец-тиран хотел сберечь дочь для будущего, не соображая при этом, что уже делал первые шаги в обратном направлении.

Но и в клубе искать Галку было делом пустым. Дядя Боря не отпускал дочь на танцы и в кино. Он полагал, что эти променады не привьют ничего хорошего образу благовоспитанной девушки. Галкин отец не знал других способов превратить обычную девчушку, губы которой пахли лавром, в современную женщину. Поэтому он почти каждый день набирался допьяна и постоянно на ее глазах избивал дядю Сашу. Наверное, хотел этим объяснить Галке, что мужчина, с которым она в будущем свяжет свою жизнь, должен быть решительным и сильным.

Но свою жену Галкин отец не обижал. Как и дочь. В этом он видел свою воспитанность, ощущал себя человеком твердых моральных убеждений. Того же папаша добивался и от семьи. Мне кажется, что именно эти требования, противоречащие собственному поведению, лишали его семью счастья, а саму Галку – легкомыслия.

Она как-то быстро перешагнула ступень детства, в котором я никак не мог накупаться. Галка перепорхнула от младенческой бестолковости к зрелости и хотела вернуть то прекрасное, что утратила, не заметила во время перелета. Она желала оказаться в той жизни, которая прошла мимо нее. Поэтому девушка и выбрала меня в приятели, пыталась уравнять разницу наших мироощущений.

Я почти убежден, что Галка ни разу до меня не целовалась со сверстником. Это первое влажное, торопливое, пахнущее лавровым листом прикосновение наше поразило ее так же сильно, как и меня. Галка жила в каком-то своем, придуманном ею мире. По странному и счастливому стечению обстоятельств он был и моим.

Она никогда не обращалась со мной как с игрушкой, в противном случае я мгновенно соотнес бы это со своей тщедушностью. Слабенькую игрушку, кое-как слепленную в конце квартала, всегда хочется полечить, а к мягкому мишке прижаться щекой. Но нет. Для Галки я не был ни тем ни другим.

Однажды она увидела мое лицо, искривленное болью. Сосновая шишка продавila мне босую пятку.

– Перестань, ты же мужчина! – сказала мне Галка удивленно и решительно.

Я почти задохнулся от восторга. Наконец-то и для меня нашлось слово в ее лексиконе. Оно понравилось мне с первой секунды.

В восемь лет делать поразительные выводы о доминировании половых категорий невозможно, но зато я чувствовал, понимал, ощущал и оттого ликовал – она выбрала меня как мальчика и нуждалась в моем мужестве. Среди десятков лучших, куда более сильных, отважных и, конечно, рослых она разглядела мою персону. В восемь лет особенно остро чувствуешь собственную неполноценность, низкорослость. Но Галка выбрала меня.

Я стал ее мальчиком, влюбленным в запах лавровых губ. Тягучая жара лета сокращала расстояния между людьми, если не визуальные, то чувственные. Теперь, когда между нами все стало ясно и неотвратно, я втягивал носом и другие ее запахи – земляничного мыла, окутанная в аромат которого, она каждый день выбегала на улицу, рыжих волос, свежих в своей чистоте и оттого дурманящих.

Это был странный союз: восьмилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка. Признаюсь, он меня немного волновал и тревожил. Что-то подсказывало мне, что теперь, узнав Галку, я никогда не возьмусь искать себе девочку среди ровесниц. Но тревога пересиливала приятные волнения. Мне казалось, что стоит только ей повзрослеть еще на полгода, и я перестану ее интересовать. Тогда уже никакая глубина философии ее отца не заставит Галку вернуться ко мне. Даже мысль о том, что мне-то уже давно восемь, а ей вот-вот только исполнилось двенадцать, не приносила спокойствия в сумятицу моей души.

Должно было произойти что-то такое, до чего я мог бы добраться сам, своим разумением. Но приключилось другое, к чему я оказался совершенно не готов. Это как возвращение с Сашкой из велосипедной поездки по кладбищу. Вроде все шито-крыто, никто не видел, а отец уже зовет для разговора.

Мама вдруг спросила, что меня так тревожило последние недели. Она безошибочно угадала мое настроение, и мне не оставалось ничего иного, кроме как признаться.

Она взяла меня за руку, провела в соседнюю комнату мимо отца, смотрящего по телевизору футбол, и усадила на кровать. Близость мамы меня всегда очаровывала, но сегодня я не испытывал этого чувства.

– Ты влюблен в Галю? – спросила она.

Я кивнул.

Мама рассмеялась и прижала меня к себе.

– Галя очень хорошая девочка. А ты у меня уже не мал. Поэтому я скажу тебе сейчас одну важную вещь: попробуй не потерять ее.

– Вещь?

– Галю. Пусть она тебя потеряет. Такое обязательно случится. Ты встретишь это с беспримерным мужеством и не скажешь мне об этом.

– Почему? – Я удивился, впервые услышав от мамы, что за решением проблемы нужно идти не к ней. – А кому мне тогда говорить?

– Никому. Это будет твое. Не смей никому отдать. Ты понял меня?

Меня это устроило, потому что я не находил причин, которые заставили бы Галку меня потерять.

– Мама, а когда вы с папой поцеловались первый раз, твои губы пахли лавровым листом?

На мгновение оцепенев, она вдруг рассмеялась:

– А вы, я смотрю, не теряете время даром! – Потом мама вдруг посерьезнела и поджала губы, словно пробуя их на вкус. – А почему нет? Возможно. Нужно спросить у отца. Папа! – крикнула она, вселяя в меня ужас. – Когда мы впервые целовались с тобой, чем пахли мои губы?

Я сгорал от стыда.

– Малиной!

– Малиной, – повторила мама, словно я был глухой.

– Озеров опять заговаривается, – донеслось из зала. – Как бы он снова чего не... Малиной. Спелой, сочной, сладкой малиной!

– Потрясающая память, – сыронизировала мама. – А, может, наш папа скажет, какой день недели был пятого ноября... ну, одна тысяча девятьсот сорок седьмого года?

– Среда! – В зале раздалось сначала шуршание тапок по ковру, потом несколько резких щелчков и, наконец: «Штирлиц идет по коридору. – По какому коридору?» – Мы снова опоздали! Ну-ка, бегом смотреть!

Это была традиция, заложенная в народ Татьяной Лиозновой. О ней было столько разговоров, я так часто читал в титрах ее имя, что не запомнить его мог разве что только Сашка. Я подумал так из злорадства. У них не было телевизора.

Просмотр втроем «Семнадцати мгновений весны» с некоторых пор стал таким же домашним церемониалом в нашем доме, каким было чаепитие в Японии. Каждому свое место, все знают, что надо делать. Поскольку надо было только смотреть и слушать, этот церемониал оказался очень несложным по исполнению.

Но сегодня он был нарушен. Даже не заняв свое место, мама направилась к шифоньеру. Выгрузив оттуда стопку журналов высотой полметра, она уложила их на пол и стала складывать.

– Неужели это нужно делать прямо сейчас? – удивился отец, и я его в этом молчаливо поддержал.

Перевернув стопку, чтобы наверху оказалась последняя обложка, она стала методично откладывать в сторону по одному журналу.

Два года назад отец с соревнований, проводимых в Сочи, привез предмет неслыханной роскоши: чехословацкую вязальную машину. Она впоследствии была прикручена к подоконнику. К звуку скользящей каретки я вскоре привык так же, как когда-то к зарядке, не приносящей мне никакой пользы.

Теперь мама собирала все до единого журналы, в которых давались советы по механической вязке. Даже за послевоенные годы, когда появление портативных вязальных машин предчувствовалось, но не утверждалось. Но мама коллекционировала журналы так же упорно, как я собирал обертки от шоколадок. Те, что дарились ей подругами, и те, что она выписывала на дом, и те, что покупала в единственном в нашем городе киоске «Союзпечати». Она складировала их в шифоньере с той же безупречной педантичностью, с какой укладывала мои или отцовские вещи.

Самым главным после выкроек и вырезок являлось вот что: на обратной стороне журналов издательство размещало календари, словно намекая на то, что кройка и шитье – дело не самое скорое.

Сейчас мама держала в руках журнал за 1947 год.

– Немыслимо!.. – прошептала она, глазам не веря, голосом, покрывшим меня гусиной кожей. – Это была среда.

Я верил в отца, и сейчас мне плевать было на Штирлица. Мой отец выкрутился бы из любой переделки глаже его.

– Я говорю, это была среда! – Мама приближалась к нам, словно угрожая.

Ее роскошные рыжие волосы были рассыпаны по плечам, а глаза горели зелеными кострами. – Среда, говорю, майн либер манн!

– Да разве не это сказал я только что? – возмутился отец, улыбаясь.

– Но... среда? Как можно помнить?

– А чего тут помнить? – Отец развалился на диване, обняв меня. – Мы с группой приехали к твоим родителям. Все сели пить чай, а мы с тобой, уже не помню по какой причине...

Нет, помню! Хотя нет, не помню. Мы вышли на улицу и оказались в кустах малины с человеческий рост. Я перепачкал свою белую рубашку ягодой, а та, что дал поносить мой будущий тесть, оказалась мне мала. В итоге сочинение я писал в клетчатой рубашке. Точно не помню, в чьей именно!

– Я не о малине, а о среде! – Мама была сегодня упряма как никогда.

Со своим бесценным журналом в руках она была похожа на сумасшедшую, очень-очень красивую, знающую три языка, любящую меня и своего «либер манна».

– Я просто угадал, – признался наконец отец.

Она расхохоталась, и журнал, теряя листы, взметнулся в воздух. Дурачась, отец закрылся от него как от кузнечного молота, на этом все и закончилось.

Ночью я не мог спать, все время думал о Галке и нащупывал ногами твердь. Мешал диванный валик, будь он проклят. В какой-то момент я успокоился, пообещал себе, что если Галка меня оставит, то я об этом никому не скажу. Так поступают настоящие мужчины.

Уже почти засыпая, я услышал тихий голос отца из соседней комнаты:

– Двенадцатого октября сорок шестого посадили мою маму. Мы тогда страшно голодали. Мама промышляла тем, что собирала вдоль железной дороги куски антрацита. Наберет мешок – и мы счастливы. Потому что тепло. Трудно без тепла в землянке в середине октября.

В сентябре еще как-то держались, ветки собирали. Это делать разрешали, хотя и покрывали. Мы с мамой вязали сучья и волокни домой. А в начале октября маму арестовали за кражу государственной собственности. Она валялась вдоль всей дороги, и государство ее не собирало. Такая собственность была не нужна государству. Вот так мы остались с бабушкой.

Через неделю был суд. Там мне разрешили поцеловать маму через перила перед скамьей подсудимых, отполированные миллионами локтей. Лоб у нее оказался холодный-холодный, как в наказание за то тепло, которое она украла у страны. Он почему-то пах воском. Я целовал, а мама билась в судорогах и плакала так, как я никогда в жизни не видел.

Маме присудили два года лагерей. Один из них она мыкалась по этапам. Потом какой-то сердобольный дяденька из райкома партии уладил дело. Без симпатии, думаю, тут не обошлось. Так вот он-то ее и спас. Вернее, это сделал я, потому что единственным основанием для помилования был ребенок, оставшийся на попечении больной старухи.

Пока мама возвращалась, теплушками, на крышах паровозов, я спал с бабушкой. На день у нас было по кружке холодного чая – греть его уже никто не рисковал – и ломтю хлеба, на котором лежал хвостик ржавой селедки. Я знал, что бабуля умирала от чахотки и голода. Но почти всякий раз, когда ей не удавалось ничего перехватить на стороне, она ссылалась на больную печень и отказывалась есть. Это был праздник моей души. Я ел и не мог насытиться. Эти хвостики несчастные, которые шли к нам из ресторанов и обкомовских кухонь, я рассасывал до такой степени, что они распадалась у меня во рту. Незаметно, как в сказке.

Пятого ноября сорок седьмого я перегнулся через бабушку, спросил, не болит ли ее печень, но ответа не услышал. Она не дожидая до возвращения дочери восемь дней, но сохранила меня.

Сжав конец простыни зубами, я думал о том, что с тех времен у папы и осталась, наверное, привычка вставать по ночам и съедать ложечку меда, заготовленного для меня в деревнях. Папе потом попадало от мамы, причем всерьез, но ничего поделать ни с папой, ни с медом было нельзя. Он никак не мог наесться.

– Представляешь, что значит маленькому семилетнему мальчику, оказавшемуся в окружении совершенно незнакомых и весьма немногих людей, погружать в землю самого родного человека в канун праздника? Страна уже ликовала, а я хоронил бабушку. Больше у меня никого не было. В возвращение мамы я не верил. – Он помолчал немного и добавил еще

тише, каким-то надорванным голосом: – Но знала бы ты, что я почувствовал, когда вдруг открылась дверь и она вошла. Я этот день никогда не забуду.

Спустя секунду, уже засыпая, я услышал:

– Среда это была, среда...

Глава 5

Цыгане явились в наш город не просто так. Когда в областном центре их количество перевалило все предельно допустимые нормы, этих людей просто выбросили оттуда. Или выдворили, как говорили у нас горожане. Цыган попросту согнали в толпу и предоставили им право удалиться за сто первый километр.

Я даже сейчас не совсем понимаю, как можно сбить людей в кучу и заставить их уйти по дороге, по которой они, быть может, не хотели идти, но факт остается фактом. Сотни цыган разбрелись в разные стороны. Около пяти десятков ярко наряженных женщин и простецки одетых мужчин в фетровых шляпах вошли в наш город поздно вечером и разбили лагерь на окраине, неподалеку от рынка. И все только потому, что наше местечко находилось в ста пяти километрах от областного центра.

А вечером пришел отец и рассказал куда более правдивую историю о прибытии цыган, чем та, которая звучала на улицах. Оказывается, еще в большом городе их посадили в кузова грузовиков и вместе с вещами и кибитками, предварительно изломанными, вывезли в чисто поле. Подальше от цивилизации. Да там и бросили. До нашего местечка им оставалось около тридцати километров. Они кое-как починили свои средства передвижения, впряглись в них и все-таки добрались до населенного пункта.

А потом стали пропадать дети. Наши, городские.

К середине августа, то есть на третью неделю пребывания цыган в нашем городе, не вернулись домой уже трое. Все пропавшие были мальчиками. Я не буду описывать их страдания перед смертью, поскольку сам в них нисколько не верю. Люди языками треплют, и пусть себе. Они не всегда говорят правду, особенно взрослые. Им нечего бояться наказаний за ложь. Порка – участь детей.

Говорили вот, что это я украл в кабинете химии литий, вынул из керосина и бросил в школьный унитаз. Главного виновника взрыва никто потом так и не нашел бы. Как не разыскали унитаз. Если бы не правдолюбие мамы, которая, собственно, и рассказала мне о химических свойствах лития, стоял бы тот унитаз на своем месте еще сто лет. А так мама призналась в школе, отцу по партийной линии вклеили выговор, который через месяц, правда, сняли за победы его воспитанников на спартакиаде.

А я на месяц остался без мороженого под тем предлогом, что все оно пошло на восстановление школьного имущества. Оказавшись без любимого эскимо, я тешился тем, что злорадно представлял себе лица учеников, усаживающихся на унитаз, сделанный из мороженого.

Так вот, об убитых мальчиках. Они пропадали, и в тот же день общими усилиями их тела находили в лесах, густо растущих вокруг нашего города. Все они были повешены на берегах на кусках колючей проволоки. Милиционеры говорили, что перед смертью дети терпели столько, сколько достается не каждому взрослому за всю жизнь. Начались пропажи, как вам уже известно, через день после прибытия в город цыган, в то время, когда мне вот-вот должно было исполниться восемь и запах лаврового листа волновал меня только в тарелке борща.

Не нужно сомневаться в том, что мы с Сашкой побывали везде, где были убиты наши друзья. Уже на следующий день после третьей смерти мы прихватили по металлическому пруту для обороны от неизвестного врага и, презрев запреты родителей, ушли в лес, но ничего, кроме примятой травы и окурков, втоптаных в землю, на местах убийств не нашли. Да мы и сами не знали, что искали. Нас вело свойственное возрасту желание прикоснуться к неизвестному и волнующему, главное, запретному. Если повезет, найти что-то, что не заметили взрослые.

Но из того, что можно было отнести к следам преступлений, мы находили лишь срезы березовых суков. Тех самых, на которые неуловимый злодей вешал изувеченные тела мальчиков. Зачем милиционеры спиливали сучья, а не просто сматывали с них проволоку, было нам непонятно. Но, значит, так нужно.

– Кроме бычков, здесь ничего не найти, – пыхтел Сашка.

Он был прав, но лишь отчасти. Еще кое-что присутствовало почти везде, где смерть настигала ребят. Отпечатки резиновых сапог сорок третьего размера с трещиной на правом каблуке. Проще говоря – с дырой. Чьи это были сапоги, убийцы или одного из многочисленных добровольцев, искавших жертвы, зевак, торопившихся к месту каждого трагического события, было также неясно. Но не приходилось спорить с тем, что на земле, куда ступала правая нога человека, обутого в резиновые сапоги, оставался след с выпуклостью. Когда он шел, наступая на пятку, трещина становилась шире. Если этот тип делал шаг в сторону, то трещина становилась тонкой как ниточка, едва заметной.

– Милиция это, конечно, заметила. – Сашка вытер нос и расковырял очередной след прутом.

– В городе милиции сейчас больше, чем жителей, – согласился я. – И уж поверь, они заметили многое из того, на что мы даже не обратили внимания.

– На месте цыган я бы сматывал удочки и смывался отсюда, – не по возрасту рассудительно заметил Сашка.

Но цыгане, судя по всему, идти дальше посчитали нецелесообразным. Наше местечко показалось им тем самым, к которому можно привыкнуть. В любом солидном городе их снова соберут в толпу и выкинут вон. Не факт, что снова не в нашем направлении. Так что обустройство табора началось сразу по прибытии. Происходило оно весьма шумно. Зевакам казалось, что никакой организации в хаотичном передвижении цыган по окраине нет. Однако уже через неделю у федеральной трассы стоял крепко сбитый лагерь. Ни к чему не привязанный, никому не обязанный островок с мутным прошлым, непонятным настоящим и совсем уж бесформенным будущим прицепился к нашему матерiku.

Но в первый же день случилось событие, которое поставило под вопрос не только «длину сто одного километра», но и цыганскую свободу, измеряемую годами. Это происшествие стало главным, что связало намертво последующие трагедии.

Пока взрослые решали насущные проблемы, один цыганский мальчик стащил с территории воинской части моток колючей проволоки. Ответов, зачем он это сделал, могли быть десятки, поскольку никто никогда не знает, зачем цыгану все то, что плохо лежит. Но правильным оказался наименее вероятный. Молва гласила, что мальчику тому было, как и мне, восемь лет, но я считаю эти слухи преувеличенными. Думаю, тот цыганенок был вдвое старше меня, а то и втрое. Это мое мнение основывается на том, что ни через восемь, ни даже через шестнадцать лет мне вряд ли пришло бы в голову то, что учинил он. В свои восемь лет я был не подготовлен не только для реализации подобных планов, но и для возникновения их в моей голове.

Обвязав проволокой березу, цыганенок перебежал с мотком дорогу, намотал оставшийся конец себе на руку и стал ждать. Чего именно, не знаю. Может быть, ему было любопытно посмотреть, как «МАЗ», нагруженный кирпичами, на огромной скорости налетит на препятствие и перевернется. Кирпичи рассыплются. Таким образом будет решена проблема нехватки строительных материалов для цыганского поселка.

Но вышло иначе. Из областного центра возвращался врач нашей больницы с пятилетним сыном. Была суббота, на своем небесно-голубом «Москвиче» они торопились домой, чтобы выложить на стол вкусности, купленные в большом городе.

Все бы ничего, лежи проволока на дороге. Инцидент исчерпался бы многочасовым спором с цыганами о возмещении ущерба за проколотые покрышки. Но цыганенок увидел заветную цель и одним движением подбросил проволоку.

Решетка радиатора «Москвича» мгновенно раскололась надвое, фары брызнули так, словно в них попали заряды дроби. Над всем этим, почти на высоту верхушек берез, взлетел кусок проволоки с оторванной по плечо детской рукой. Сам мальчик мгновенно потерял сознание. Он был отброшен на несколько десятков метров, ударился о колесо кибитки и разможил об него голову.

Такое событие в наших краях было редкостью. Даже через федеральную трассу не каждый день летают оторванные руки, привязанные к проволоке.

Фары «Москвича» стоили дешевле человеческой жизни. Читали цыгане плохо, но считали очень хорошо. Никто не поручился бы за разумный исход дела, если бы случайнейшим образом именно в этот момент не вернулся из райсовета цыганский барон. Человек разумный, он трезво оценил обстановку. Виновник катастрофы погиб, спросить не с кого. Если к трупу мальчика добавятся тела доктора и его сына – а дело к этому уже шло, поскольку цыгане вынимали их обоих из машины, – последствия для табора могли быть куда печальнее, чем в большом городе. Барон встал на пути незаслуженной мести и несколькими выкриками охладил пыл соплеменников.

Все новости о ходе расследования и подробности этой ужасной катастрофы приносил домой отец. Как член партии, отягощенный какой-то еще общественной нагрузкой, он был в курсе всех происходящих событий.

Эпизод с оторванной рукой был закончен, но сама история продолжалась. Мальчика похоронили по христианским обычаям. Мы с Сашкой, нарушив запреты родителей, были там и тогда еще не догадывались, на пороге каких ужасных событий стоим.

Мать цыганенка, рыдая над гробом сына, поклялась каждый день зазывать на наш город темные силы. На глазах многочисленных свидетелей она прокляла это местечко и всех его обитателей. При сложившихся обстоятельствах на такое негодование можно было не обращать внимания. Запросто, когда бы уже через пять дней не повис на березе один из моих одноклассников. Именно на березе. На куске колючей проволоки.

Через неделю история повторилась. Изувеченный Аркаша Мерецков висел на березе, и на его теле не было ни одного живого места.

На город опустился страх.

Цыганский барон, вызванный на допрос после первого же убийства, вынул из-под черной рубахи золотой крест таких размеров, о которых мечтал отец Михаил, поглядывая на купол храма. Барон истово крестился, бил себе крестом в лоб, целовал его и со слезами на глазах умолял не трогать табор. Он говорил, что цыган может увести коня, обсчитать во время торга или украсть на базаре хомут. Но он никогда не убьет ребенка, клялся барон.

Больше всех милиция подозревала мать погибшего цыганенка. На допросах она отмалчивалась или уверяла следствие в том, что темные силы еще не раз отомстят за ее сына.

Чтобы успокоить горожан и придать растерянным действиям милиции хоть какую-то логику, цыганку поместили в наш изолятор временного содержания. По ночам она там выла и, говорят, медленно прощалась с разумом. Но поместить темные силы за решетку власти, конечно, не смогли.

Вскоре случилось то, из-за чего мой отец посчитал город спятившим. На березе близ мукомольни повис третий мальчик. Аркаша Демидов учился в параллельном классе. Я знал его как умельца играть на аккордеоне.

Город наводнился инспекторами уголовного розыска из областного центра, когда стало ясно, что события вышли из-под контроля, местная милиция с ними не справляется. Чтобы не было понятно, что они милиционеры, сыщики представлялись горожанам то агрономами,

то уполномоченными обкома КПСС. Но лучше бы уж эти пинкертонеры ходили в форме, потому что так их было проще спутать со своими, растерянными. Это во-первых. Во-вторых, тогда они не выглядели бы столь глупо. Ибо наш город не видел такого количества агрономов и партийных уполномоченных еще никогда, даже во время уборки урожая.

Цыганку, проклявшую город, вскоре отправили в областной центр. Священник отец Михаил, кстати, китаец, и без того темный, как чугунок, ходил вокруг милицейской машины чернее тени и твердил, что не по-христиански это. Могли бы, по крайней мере, дожидаться сорока дней.

– А потом годовщины? – буркнул ему в ответ кто-то из числа то ли агрономов, то ли секретарей.

И цыганку увезли.

Глава 6

Олежку Крылова обнаружил утром пастух. Гоня стадо мимо лесных колков, он заметил страшную картину: на окровавленной березе висел изуродованный ребенок, вздернутый на куске колючей проволоки. Бросив коров, пастух побежал в милицию, и уже через четверть часа народу в городе убавилось – добрая половина была там, у березы...

Это произошло в километре от рыбного завода, на западной окраине города. Я успел заметить только его ноги. На правой сандалия была, а с левой, прямо как сдутый шарик, свисал окровавленный носок. Мальчика уже снимали с дерева в тот момент, когда мы с Сашкой приехали. Нечеловеческий крик его матери, быстрые движения милиционеров и врачей, укладывающих Олега в машину «Скорой помощи», плач и стон вокруг – вот все, что я одним обрывком киноленты захватил в памяти. Меня и Сашку вытеснили из толпы, а после отправили домой. Милиционеры пообещали, что сами выпорют нас, если этого не сделают наши отцы.

Тот день мы с Сашкой провели во дворе. Не зная, что сказать, слонялись по кривой, касаясь плечами друг друга. Я плохо помнил Олега. Он учился в соседнем классе и дружил больше с Сашкой, чем со мной. Я только знал, что этот мальчик собирал марки.

Удивительно просто получается: был Олег, а теперь нет его. И никогда не будет. Эта странная мысль никак не могла обосноваться в наших головах и заставляла нас молчать. Я не знаю достоверно, о чем думал Сашка. Раньше я не мог представить себе, например, бесконечность, а теперь еще и то, как это – не быть. Что это такое на самом деле смерть, если она заставляет кричать от приступа безумия, страдать, но и дарит наслаждение своей музыкой?

Слушая последнюю песню умирающего дерева и становясь единственным свидетелем его смерти, я не испытывал страха. Дерево прожило свой срок и уходило с добром в сердце ко всему окружающему. Именно так, с добром и спокойствием, потому что деревья не убивают друг друга. На это, как и на ненависть, способны только люди.

«Неужели деревья лучше людей?» – спрашивал я и не находил ответа, потому что задавал этот вопрос только себе.

С Сашкой мы разошлись на полпути. Я даже не помню, как это случилось. Кажется, он упоминал о том, что зайдет к тете Наде на работу. Я же направился в противоположную сторону и вскоре оказался у брошенной лесопилки. Мама и отец еще часа два должны были провести в школе. Это был тот редкий случай, когда я оказался предоставлен самому себе.

Не зная, как воспользоваться свободой, которая возникла так внезапно, я зашел в покосившееся здание. После того как лесопилку бросили и вывезли все, что в ней находилось, там остались только кучи посеревших опилок, осевших и отвердевших как бетон. Еще стены. Всего три, поскольку одну, что была из досок, люди разобрали и разнесли по дворам. Но самое ценное – взрослые то ли не знали этого, то ли им было лень трудиться – находилось внутри окаменевших куч. Когда лесопилка действовала, рабочие бросали на опилки короткие обрезки досок, им не нужные, но такие необходимые нам с Сашкой. Из них мы мастерили корабли, которые потом запускали в реку в вечное плавание, щиты, мечи и все остальное, без чего обойтись было невозможно.

Долбить опилки и копать в них было увлекательно. Никогда не знаешь, на что наткнешься. Чаще нам попадались кривые, сучковатые доски, но иногда, имея терпение, можно было отрыть настоящее чудо.

Разыскав в полумраке пустующего здания палку, которая исполнила бы роль лопаты, я принялся за дело. Я знал, зачем мне нужна доска. Мысль отыскать ее пришла ко мне сразу, едва я решил не думать больше об Олежке и увидел лесопилку. Вооруженный этой идеей, я

подошел к куче с той стороны, где мы с Сашкой еще не тревожили ее, и приступил к работе. Палка была суковатая, она больно ударяла по пальцам, а опилки, словно назло, оказались тверже обычного. Но гениальность идеи подгоняла меня, и вскоре, набив мозоли, я выкопал короткую ровную дощечку. То, что мне и было надо.

Я отшвырнул палку в сторону и развернулся, чтобы выйти из здания.

Доска выпала из моих рук, ноги стали ватными, когда я понял, что нахожусь вдали от дома, в позабытой людьми лесопилке не один.

Прямо передо мной стоял высокий старик. Длинная борода его, белая как молоко, шевелилась на ветру, а на голову до самых ушей была натянута зеленая шляпа с обвисшими краями. В пиджаке на голом теле, мятых брюках и с трубкой в зубах, старик стоял в метре от меня и смотрел куда-то надо мной. Ничего более ужасного в своей жизни я не видел. Во мне колыхнулись воспоминания о книге, семнадцатая страница которой предвещала холодный озноб и тесноту мира. В руке его была тонкая, длинная, выструганная из дерева и черная от старости палка.

Мои губы стянуло от дурных предчувствий так, что во рту появился вкус черемухи. Хотелось убежать, еще больше – закричать, после заплакать, но я стоял и не шевелился. Старик вдруг вытянул руку и стал водить ею перед собой, как если бы находился в полной темноте. Вернуться из леса, где убили твоего друга, и встретиться с этим стариком – желал ли я лучшего для себя в этот день?

Старика я узнал. Он вошел в город вместе с табором. Но это почему-то не придавало мне сил, напротив, отнимало их.

– Кто здесь? – наконец-то произнес он почти шепотом, свистящим, как будто вырывавшимся из школьного горна.

– Я, – сказал я, набравшись мужества.

Старик тут же опустил голову.

– Скажи, мальчик, где я?

– В лесопилке.

– Я заблудился.

Как можно здесь заблудиться? Всего в нескольких сотнях метров – федеральная трасса. Рядом с нею табор. Если забраться на кучу опилок, то его запросто можно разглядеть. Если бы стена стояла, то видно бы не было. Но ее разобрали, поэтому табор заметен.

– Ты можешь отвести меня к дороге?

Я чувствовал себя не очень приятно, слушая старика. Я понимаю, когда отводят детей в детский сад. Но зачем провожать такого здорового старика? Я решил, что здесь кроется что-то неладное, и сделал шаг в сторону, чтобы обойти старика и сбежать.

Но он тут же оторвал палку от земли, коснулся ею моей ноги и сказал:

– Не бойся, мальчик, я слепой. Я ничего не вижу. – Старик вышел из темноты на свет и будто бы посмотрел на меня.

Его просьба не бояться произвела обратное действие. Увидев ужасные, большие, лишенные цвета глаза, я снова почувствовал слабость в ногах.

– У тебя есть спички?

Спички... спички...

– Мальчик?

О чем он меня спрашивает?..

Спички... Спички! Да, они у меня есть. Заходя вечером домой, я прячу их в подвале, а утром, выходя из дома, забираю. Иначе как прикажете разводить костер, чтобы жарить яйца, украденные из курятника, который стоит у дома баптистов Мироновых, или расплавлять свинцовые решетки автомобильных аккумуляторов?

Я сунул руку в карман, вынул коробок и протянул в сторону старика. Он долго водил рукой перед собой, чтобы на него наткнуться. В конце концов мне это надоело, и я тряхнул коробком. Спички глухо прошуршали, и он тут же их нашел.

– Если это лесопилка, значит, здесь есть лес? Здесь нельзя чиркать спичкой.

Я удивился. Как лес может быть в лесопилке? Лес – он растет в лесу.

– Здесь нет леса.

– Но все равно давай выйдем, – предложил старик и цепко схватил меня за руку.

«Как ловко вцепился», – подумал я, с головы до пяток наполняясь холодком.

Мы вышли на солнце, и он тут же принялся обстукивать землю вокруг себя.

– Покажи, где старик мог бы сесть. Я устал и больно ударил колено.

Это была приятная новость. Бегал я хорошо. Я потянул его к ржавому насосу и остановился рядом. Постучав по нему, старик сел, но руки моей не выпустил. Даже сидя, он был выше меня.

– Обещаешь, что доведешь старика до дома?

– А где ваш дом? – спросил я.

– Сейчас – у дороги.

– Обещаю.

Он отпустил мою руку и принялся выковыривать спичку из коробка.

– А почему сейчас? – спросил я, потеряв одно колено о другое. – В вашем доме ремонт, и вы все выехали, чтобы не мешать строителям?

– У цыгана дом там, где он остановился, – чмокая губами, чтобы раскурить трубку, сообщил мне слепец.

– Как это?

Конечно, самым непонятным было, кто и зачем убил Олежку и Толика. Но и дед тоже выражался странно.

– Твой отец говорит, что у цыган нет родины, поэтому они бродят по стране как собаки. Он чуть-чуть прав, твой отец. Цыган ходит по земле. Но он не собака. И родина у него есть. – Старик постучал себя по впалой груди. – Вот здесь.

– Вы знаете моего отца? – Я был сильно удивлен.

– Нет, – подумав, ответил старик и посмотрел вверх, на солнце, не шурясь.

– Тогда откуда вам известно, что он говорит? – Мое удивление сменилось досадой.

– Так говорят почти все, кого мы встречаем. Чем твой отец хуже их?

Он меня запутал.

– Мой отец так не говорил.

– Значит, твой отец хороший человек, – заключил старик и качнул головой. – Цыган заблудился. А что здесь делал мальчик?

– Я искал доску.

– Зачем мальчику доска?

– Мы с Сашкой вырежем на ней ножиками «Олежка» и прибьем к березе.

Старик вынул изо рта трубку и дважды моргнул.

– Зачем мальчики это будут делать?

– Чтобы был памятник Олежке.

– Он умер? – Старик покачал головой и забормотал что-то на мешанине из русского и еще какого-то неизвестного мне языка. – Когда родители умирают – боль детям, когда дети болеют – боль родителям, когда дети умирают – родители уходят вместе с ними...

– Олежка не болел, – напрягшись, произнес я. – Его убили.

Я так внимательно наблюдал за реакцией старика, что у меня заболели глаза, но все равно ничего подозрительного не обнаружил. Слепой цыган снял шляпу, бросил под ноги, наступил на нее и топнул. Ветер шевелил его бороду и длинные волосы. Мне начинало

казаться, что они живут сами по себе и остаются со стариком только потому, что привыкли к нему.

– У нас тоже умер мальчик, – тихо сказал он. – Но его не убили, он сам лишил себя жизни. Случайно. – Потерев шею черной узловатой ладонью, он вдруг заговорил решительно: – Не нужно писать на доске и прибавать к березе. Вообще ничего не надо. Вы его матери горя добавьте. Память вот здесь. – Он завел ладонь за отворот засаленного пиджака и вдавил ее в левую половину груди.

– Вы меня отпустите? – неожиданно для себя спросил я.

Старик снова вынул изо рта трубку и посмотрел почти туда, где находилась моя голова.

– Почему ты так говоришь?

– Я боюсь, – признался я.

– Меня?

– Да.

Он подумал и протянул мне спички.

– Иди.

Я взял спички, медленно обогнул старика, потом прибавил шагу и вскоре вышел за ограду лесопилки. Вбежав на пригорок, я остановился и оглянулся. Слепой цыган сидел на насосе.

Он просил проводить его до табора. Но Олежку, наверное, тоже кто-то о чем-то просил. Усевшись и гоняя во рту былинку, я решил ждать. Сверху двор лесопилки был как на ладони. Когда солнце уже порядком нагрело мне голову, я спустился туда.

– Зачем вернулся? – спросил цыган, не оборачиваясь.

– Я обещал проводить вас до дома.

Старик поднялся и по очереди потряс затекшими ногами.

– Цыган ребенка не ударит. А ты говоришь – убил.

– Не говорил, – неуверенно произнес я, думая, кто больше соврал сейчас, он или я. – Я даже... так не думал.

– Все так думают. Значит, и ты.

– Я так не думаю, – ответил я, теперь уже будучи уверенным в том, что главный лжец здесь все-таки не он.

Я так думал. Конечно же! Потому что все так думали. Наверное, и отец, и даже мама. Просто они не говорили об этом слух. А другие люди не молчали. Эти разговоры заставляли меня считать, что именно цыгане убили и Олежку, и Толика.

«А кто еще?» – спросил я себя и тут же вспомнил, что все разговоры горожан в магазинах заканчивались именно этим вопросом.

Мы странно выглядели на дороге, ведущей к табору. Длиннющий, выше моего отца, старик и маленький, словно из матрешки вынутый мальчик. Он держался за мою руку, а я шел чуть впереди. Когда до табора оставалось совсем чуть-чуть, я отпустил его ладонь. Не хотелось мне приближаться к табору. То же чувство я испытывал, когда видел стадо коров.

– Дорога ровная. Тридцать... нет, двадцать шагов, и вы дойдете. – Я втянул носом воздух, в котором витал запах жареного мяса, и тут же понял, что голоден.

– Как зовут мальчика? – спросил старик.

– Артур.

– Артур хочет есть?

– Нет.

– Тогда пусть Артур приходит скоро и принесет черемуховый сук. Дед Пеша сделает ему лук.

– Пеша? – уточнил я.

– Да, деда зовут Пеша. – Он покачал головой и взялся за палку обеими руками. – «Пеша» по-цыгански значит «маленький».

– Маленький?..

– Но сук должен быть черемуховый, – предупредил старик. – Хороший лук можно сделать только из черемухи.

Дотянувшись, он потрепал мои волосы, развернулся и захромал по дороге. Насчет колена старик не врал.

Глава 7

Несмотря на то что мы с Галкой всю жизнь провели в одном подъезде, разговаривать нам было не о чем. «Привет» – вот и вся беседа. Просто у нас не было ничего общего: ни пола, ни интересов, ни забот. Но от родителей, точнее из их случайных разговоров, я знал, что Галка не благодаря, а вопреки воспитанию училась очень хорошо. Она знала много такого, о чем я и Сашка, считающие себя неплохими знатоками жизни, даже не догадывались. Племена майя и манерность дворцовых дам – как это все умещалось в головке с вечно взъерошенными, словно ершиком взбитыми волосами?

Мы случайно встретились в парке. Я шел с черемуховым суком, срезанным для изготовления лука. Лучшего материала для этого, как известно, не найти. А она стояла с какой-то смешной веткой в руке перед оцетинившимся котом. Я не сразу понял, в чем тут дело. Галка явно нуждалась в помощи, но никогда бы ее не попросила. Хотя озверевший кот – это разве повод для тревоги?

И тут я все понял. За спиной Галки, укрытое травой, прямо на земле – удивительно, как еще никто на него не наступил, – стояло гнездышко. А в нем – шесть грязно-бурых крошечных яиц. Если бы не кошка, то есть не Галка, я съел бы их сам. Нет ничего вкуснее перепелиных яиц, пожаренных на костре в вымытой консервной банке.

– Перепелиные, – сообщил я.

– Мне плевать, чьи они, – был ответ. – Я их ему не отдам.

Кашлянув для приличия, я перетянул кота по спине заготовкой для лука. Подскочив от неожиданности метра на полтора, завопив и заставив завизжать Галку, он с шумом скрылся в зарослях.

– А ты добрый человек, – тяжело дыша, словно после бега, похвалила Галка.

Такое понимание доброты сразу вызвало у меня симпатию к ней. Коты – отъявленные сволочи. Кровожадные, хитрые, вездесущие воры.

– Иногда, – ответил я, удаляясь от мыслей о луке. – Яйца нужно перенести. Здесь их сожрут кошки или собаки.

«Или мы с Сашкой», – едва не вырвалось из моих уст.

– Но куда? – Такой вот беспомощностью она скидывала со своего возраста года четыре, и теперь мы были наравне.

Я осмотрел девочку с ног до головы. Она продолжала находиться в легком шоке после схватки с котом, поэтому я мог делать это бесконечно долго. Спустя много лет жизни бок о бок теперь вот вдруг выяснилось, что она, оказывается, красива. У нее не выпирали внутрь коленки. Еще Галка была спортивна, а это сразу располагало.

– На чердак нашего дома, – сказал я. – Голубей там сейчас нет, так что не задолбят. Кошки туда не забираются, потому что не знают, что голубей там нет, и думают, что их там задолбят. Значит, там и есть самое безопасное место.

Чердак был на самом деле пуст. Лишь птичий помет, толстым слоем покрывавший перекрытие, да старые перья, валяющиеся кое-где, являлись доказательствами, что голуби здесь все-таки когда-то были. Самое время переселять сюда гнездо перепелов. Птенцы вылупятся, станут на крыло и улетят. Но обратно вить гнезда уже не вернутся. Перепела не живут среди людей.

– Да-да, – забормотала Галка. – Кошки на чердак не полезут, потому что нет голубей... Разрыв пищевой цепочки.

Глупая. Кошки на чердак не полезут, потому что боятся голубей.

– Кстати! – Глаза ее вспыхнули. – А почему в прошлом году голуби на крыше жили – я слышала, как они ворковали! – а в этом году их нет? Куда они делись?..

– Откуда я знаю?

Все голуби с чердака, эти сизокрылые бестолковые твари, гадающие на подоконник и задалбливающие друг друга насмерть клювами в затылок – звери, а не птицы! – были выловлены мной и Сашкой и проданы шабашникам. А голуби с крыш других домов на чужую территорию не залетают. Но я не был уверен в том, что эта история Галке понравится.

– Ветку можно уже бросить, – предложил я.

Галка опомнилась и отшвырнула засохший березовый сучок, который вряд ли представлял бы угрозу для кота, не окажись меня поблизости.

– Слушай, Артур, – встревожилась вдруг она. – А как родители перепелят... ну, яиц, как они догадаются, что гнездо под крышей? Прилетят в парк, а гнезда на месте нет!

– Ты думаешь, они на работу улетели, что ли? – ухмыльнулся я. – Перепела давно сидят над нашими головами и ждут, чем все закончится. Думаю, они притаились где-нибудь в пяти шагах от нас.

Она подняла голову.

– Только не делай резких движений, иначе все испортишь, – голосом бывшего охотника произнес я.

Мы аккуратно, словно корону Российской империи, перенесли гнездо на чердак. Я предложил Галке лезть по лестнице первой, но она отказалась. Дуры эти девчонки. Понятно же, что принимать сверху всегда легче, чем подавать снизу.

С тех пор между нами укрепились какие-то эфирные, но крепкие отношения. Мы верили друг другу, а это самое главное. Каждый день, встречаясь уже намеренно, мы взбирались на чердак, чтобы приветствовать спасенных перепелят. Но они и не думали покидать свои домики. Видимо, не настал час.

Мы почти огорчились, что перепела-родители не вернутся к яйцам, побывавшим в таком переплете. Однако они сели на гнездо. Сначала настроения нам добавила перепелица, потом появился и перепел.

Первые дни птички были заняты тем, что предлагали нам с Галкой поиграть в догонялки. Мы должны были семенить по чердаку за птицами, у которых якобы сломаны крылья. Вскоре они поняли, что нас этим не проймешь, и перестали обращать на нас внимание, словно отрицали само наше присутствие в этом мире.

Чем дольше мы общались с Галкой, тем интереснее становилось мне бывать на улице. Двор перестал быть ареалом нашего постоянного нахождения. Но гуляния в лесах в наши планы не входили. События показывали, что лес – не самое безопасное место игр для детей. Все как-то само собой свелось к парку, совершенно замечательному, пахнущему адонисами.

Когда наши губы впервые соприкоснулись, я не понял, что произошло.

А случилось вот что. Я вдруг понял, что жду следующего дня только затем, чтобы увидеть Галку.

Строили цыгане споро, ловко. Мне казалось, что в этом суетливом разобщенном действии нет никакого плана. Порой кто-то из них покрикивал, слышался стук молотков и скрип пил. Я думал, будто всякое строительство подразумевает некое разумное планирование, обсуждение этапов работы. Если нет заранее составленного плана, то неминуемо должна присутствовать хотя бы какая-то мысленная конструкция, к которой необходимо стремиться, создавая строение снизу и ведя его вверх.

Даже мы с Сашкой, когда мастерили шалаш, дважды передрались и трижды поклялись не здороваться больше друг с другом. Каждый из нас имел свою идею. Она была, разумеется, самой выигрышной. Все мысли напарника, конечно же, никуда не годились. До тех пор пока мы не достигли компромисса, шалаш так и оставался в виде двух идей: ветви отдельно, опоры отдельно.

Но цыгане делали свое дело, каждый со своей стороны будущего дома, не советуясь друг с другом и не сверяясь. На выходе получалось что-то неказистое, на мой взгляд, совершенно бесформенное, но, по их мнению, вполне пригодное. Мне почему-то казалось, что они раньше занимались этим сотни, даже тысячи раз. Так, быть может, это только для меня их труд неказист, а в мире, где живут они, такая работа – искусство?

Тогда я вспоминал лук, подаренный мне в марте на день рождения. Он был красив, изогнут точно так же, как рога у коровы. Его форма сулила недюжинную силу и немыслимую дальность полета стрелы. Я думал, что никогда не сделаю себе такой лук, но мама, увидев, с чем пришел ко мне на восьмой день рождения Сашка, лишь вздохнула. А все потому, что она жила в другом мире. Но если бы мама попробовала хоть раз натянуть тетиву этого лука и пустить стрелу, то она по-другому смотрела бы на этот подарок и тоже, наверное, положила бы его рядом с кроватью на ночь.

Но все равно я не видел логики в цыганской работе, наблюдая за ней с пригорка. Из хлама, принесенного с городских улиц и из подворотен, они по очереди выбирали некие предметы и приколачивали, а иногда и привязывали один к другому. По-моему, если находить что-то на улице и прибавлять друг к другу, то получится бесконечная цепь, похожая на дорогу, использованную и брошенную за минованием надобности в ней. Цыгане прибавляли ненужные горожанам предметы в абсурдной последовательности, не предполагаемой никакой логикой. У них получались крыша и пол, а между ними – окна в стенах.

Я думал, что, наверное, нужно быть цыганом, чтобы так строить. Будь я старше, удивлялся бы тому, сколько полезных вещей люди называют ненужными и выбрасывают, заполняя ими помойки. Но тогда, пережевывая ириски, прилипающие к зубам, я думал о другом. Мне казалось, что цыгане – это работники, изгнанные из сказочного города мастеров за неопрятный вид и шум, издаваемый ими.

Впрочем, эта глубокая мысль была моей личной лишь наполовину. Виновность за неопрятный вид не находила места в моем уложении о провинностях. Это было понятие более высокого порядка, утверждение из мира выводов людей, куда более высоких ростом, чем я. Присовокупил я его к вине цыган перед городом мастеров лишь потому, что они и в самом деле не отличались чистотой.

Взрослые люди считали опрятность непреложной истиной, принимать которую, стало быть, нужно было без тени сомнений. Часто и подолгу наблюдая за этими приятными, словно из другого мира явившимися людьми, я все чаще задумывался о праве цыган считать взрослых жителей моего города свихнувшимися на чистоте и опрятности. Они позволяли себе считать цыган грязнулями. И еще я думал, что если уж говорить о чистоте начистоту, то надо было признать, что многие неопрятные цыгане выглядели куда приятнее жителей города. Добрее, смешнее и трезвее. В итоге я зашел в тупик, выбраться из которого самостоятельно не мог, как ни старался.

Однажды мама заболела, а отец уехал на соревнования. Я был оставлен под присмотр деда Фильки, увидел в окне цыганку и попытался в очередной раз разбить стену непонимания, возведенную взрослыми.

– Дед, почему они в магазинах разговаривают с нами грубо? – спросил я у старика.

Он посмотрел на меня влажными от стопки водки глазами и ответил не задумываясь:

– А что мы делаем для того, чтобы они разговаривали с нами учтиво? – Дед тут же погрозил цыганке в окно кулаком и заворчал: – Иди, шагай себе мимо, зараза!..

Так что единственным, в чем я находил уют от присутствия в нашем городе цыган, был шум. Не знаю, я никогда не спрашивал у отца, но мне казалось, что родился я в мгновение полной тишины. Бор тогда стоял, замерев, парк молчал, и даже облака остановились. С тех самых пор, когда я стал понимать себя, тишина была моим верным союзником и товарищем.

С Сашкой я мог разругаться, с тишиной – нет. Она всегда была со мной, окутывала спокойствием, одобряла все, что я делал. Если я выходил из зоны ее действия, то тотчас искал способ в нее вернуться. Шум и необъяснимая разноголосица, даже не имеющие ко мне отношения, приводили меня в беспокойство. В эти тревожные минуты я как никогда ясно понимал свою беспомощность перед окружающим, слабость и ничтожность. Тогда я обращался к одиночеству как к единственному способу снова обрести себя в высоте и могуществе.

Цыганские постройки завораживали меня своей бессмысленностью до такой степени, что в каждой из них я пытался угадать известное мне, ранее виденное явление. Домиков, если их можно было так назвать, после окончания работ оказалось восемь. Именно столько семей вошло в город.

Каждый фасад я мысленно накладывал на знакомые очертания зверей, птиц или чего другого, к чему дома, на мой взгляд, имели отношение. Одна из хижин напомнила мне крокодила – вытянутая, как низкий барак, узкая, с огромной пастью входа, на которой не было двери. Вместо нее, совсем как язык, перепачканный кровью добычи, болталось красное шерстяное одеяло. Я сидел, обхватив руками колени, шевелил губами и считал, сколько людей съест крокодил за то время, пока дед Филька, вошедший в магазин, купит бутылку вина и выйдет, или сколько простыней успеет повесить на веревку глухая тетя Даша за то время, пока хищник сожрет троих.

Я искал тишины, а возвращался в то место, куда она никогда не заходила точно так же, как отец Михаил никогда не заглядывал в пивбар. Я любил одиночество, но ноги сами вели меня к цыганам. К их лагерю, вечно гудящему как растревоженный рой, к этой суете, направленной в разные стороны, но не выходящей за границы табора.

Я смотрел с пригорка на людей, в согласии глядящих друг друга по плечам, а через минуту размахивающих руками и кричащих так, что мне казалось, будто они вот-вот вцепятся друг другу в горло. Странное дело, я не уходил, а напротив, чувствовал непреодолимое желание ждать, когда цыгане снова начнут гладить друг друга. Спустя некоторое время мое пропитанное тишиной одиночество нашло меня на этом пригорке, чтобы быть рядом и идти домой со мною вместе в тот час, когда невозвращение означает странность.

За то время, что цыгане жили в городе, дядя Боря избил дядю Сашу три тысячи раз, а в таборе не случилось ни одной драки.

Глава 8

Неподалеку, где-то совсем рядом, гораздо ближе, чем тебе кажется, так же не торопясь, но, в отличие от тебя, осмысленно, прогуливается нечто. Твоя задача не встретиться с ним.

Вблизи она казалась еще огромней. Чудо как хороша была эта машина. Нельзя сказать, что по городу машины ездили в изобилии, хотя имелись всякие. Но второй такой было не сыскать. С ржавыми дверями, которые пели от одного только прикосновения. Они издавали звук настоящего симфонического оркестра, который я постоянно слушал по радио, оставаясь дома один.

Металлический, прожженный вечностью скрип говорил мне, мальчишке, мол, садись, и ты поймешь, что такое настоящая машина, а не этот ваш немощный, купленный недавно «Москвич». Подниматься в кабину, разреши мне водитель, пришлось бы в три приема. Как в танк, наверное.

В танке я раз был. Дед возил меня к месту съемок фильма «Горячий снег». Он попросил, ему разрешили, я залез в люк и сел за рычаги управления. Правда, вынимать меня оттуда пришлось с боем, по сравнению с которым все то, что снималось на пленку, было так, перестрелкой. Я плакал и вопил, противоборствующая мне сторона разражалась смачной матерщиной. Победили они. Но тогда я был маленький, а сейчас умею отгонять злых собак. Много воды утекло. Ай да машина....

Огромная бочка с толстенным шлангом, закрепленным на ее боку непостижимым для моей фантазии образом. Всем хороша была эта машина. Я не находил в ней изъянов, и даже мечта прокатиться на этой огромной конструкции была такая же безукоризненная, как и ржа на ободьях. Шины... Да шины ли то были?! Атракцион обозрения, чертово колесо для таких недомерков, как я! Я знал, что этот трактор назывался «К-700». Больше его были только дома. Если с трубами.

– Прокатиться хочешь? – услышал я.

Голос заставил меня резко развернуться. В трех шагах твердо и величаво, как и подобает водителям таких машин, стоял мужчина, рассматривал меня и вытирал руки ветошью.

Он мне сразу не понравился. Может быть, я вынужден был сравнить его с машиной и она выиграла? Я разглядывал мужчину, и счет быстро увеличивался не в его пользу. Чем дальше заходили мои зрительные изыскания, тем беспокойнее я становился. Как таким доверяют машины? Невысокий рост, пахнет щами. Этих заключений было уже достаточно для подозрений в том, что машину он завести не сможет. Опять же очки толщиной в ту самую лупу, которой я спалил осиное гнездо. Но я же не собирался с ним жить, в конце-то концов?

– А можно?

Вместо ответа, на который я втайне, хотя и безнадежно, рассчитывал, он продолжал рассматривать меня.

– Где живешь, друг?

Я объяснил, что наш дом стоит почти в центре города, а родители мои – учителя. Дед тоже, и даже директор. Мало того, он главный в училище, расположенном в сотне метров от этой машины. Был директором школы, а потом его попросили перейти в училище. Говорят, дети там непослушные. Я рассказал это, поскольку мне показалось, будто ему интересно. Потом я добавил, что велик у меня отобрали, поскольку я снова ездил на кладбище, а еще катался на соседской свинье. Больше всего я люблю есть клубнику, политую молоком.

– А на кладбище на велосипеде-то зачем? – удивился он.

Вот!.. Они же всегда казнят меня этим вопросом. Или как там у них называется?.. Да, ставят в неловкое положение. Но лгать человеку, который мог, хотя бы и шутя, предложить прокатиться, я не стал.

– Мы с Сашкой гоняем по рядам и трещим колокольчиками. Покойники, понятное дело, пугаются. Нам смешно. Особенно пуглива бабка восемьсот пятого года рождения.

Мужчина расхохотался и поправил на носу очки, которые от смеха завалились у него куда-то на затылок. Потом он быстро успокоился.

– Тревожить покой умерших, старик, скверно. – Мужчина вздохнул и открыл дверцу трактора. – Когда-нибудь и ты умрешь, а над тобой будет гонять толпа балбесов и пугать тебя звонками. Нехорошо.

– Я умирать не собираюсь, – возразил я, поскольку ничего более глупого из уст взрослого человека еще не слышал.

– Никто не собирается. Но все умирают. Ну-ка, падай в кабину! – приказал он.

Голос тоже так себе. В толпе и не разберешь, что это именно он первый крикнул «пожар».

Я стоял, понутив голову.

– Ты чего замер? Падай, говорю!

Когда такое говорит дед, сидящий в своих «Жигулях» или отец из «Москвича», все понятно. Туда упасть можно. В любую из двух машин. А как забраться сюда?

– Эх, кулема! – проворчал он, вскочил на подножку и распахнул надо мной дверцу. – Подсадить?

И я взлетел в кабину.

Водитель сказал что-то, я из-за рева двигателя не расслышал и переспросил:

– Чего?

– Сейчас заедем кой-куда. Дело у меня есть. У тебя бывают дела?

Я пожал плечами. Почему бы нет? Бывают, конечно, когда делать нечего.

Мне хотелось спросить, что за дело у него, но я постеснялся. Тебе разрешают кататься на тракторе величиной с дом, а ты с расспросами лезешь. Нехорошо. Да и зачем бы он стал мне рассказывать? Ведь когда взрослые что-то замышляют, они редко посвящают детей в свои планы. Этот вот тоже так делает.

В общем, если не считать восторга от такой поездки, в голове моей была каша, явный избыток впечатлений. Главным из них было вот что: я прокачусь, а мама не узнает. Не должна! Иначе беды не миновать. Тогда никакие добрые воспоминания о тряске в огромной кабине не помогут.

Мне восемь лет. Я знаю, что нельзя подходить к неизвестным людям, начинать с ними разговоры, садиться в телегу, машину, входить без разрешения родителей в их дом.

Нет, это я подобрал какое-то неправильное слово. Так может думать только первоклассник. По всем показателям. Что это такое, я не знаю, но так всегда говорит отец об урожае на даче, когда его некуда девать. «Нельзя» – это не то слово. «Категорически воспрещается» – вот как правильно.

Помню, давным-давно дед остановил машину у какого-то дурацкого столба. На уровне головы взрослого человека на том столбе красовался желтый треугольник с черепом из мультфильма, смешным, совсем даже не злобным. Там еще были какие-то буквы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.